

Адаптация

Рассказ

ЧЁРНОЕ небытие.

Белый луч света растёт. Концентрируется в одной точке. Утолщается.

В центре — карусель. Медный диск, вращающийся по часовой стрелке. На нём люди в чёрных одеждах, похожие на монахов. Они вертятся каждый вокруг своей оси, против часовой стрелки, всё быстрее и быстрее. Быстрее и быстрее.

Луч растёт, он уже не луч, а белое небытие. Карусели не видно. Ни черта не видно. Свет.

Из света выходит толпа всё тех же чёрных монахов. Они семят, они взволнованы, суетны, шепчутся.

— Он здесь!

— Он здесь?

— Да вон же он, вон же, вон же!

Монахи расступаются, выходит человек в красном. Лица не видно, он идёт быстрым уверенным шагом, на груди у него табличка с надписью «Епископ». Все замолкают. Тьма.

Знакомство с Я (как она, только моложе)

КОМНАТА С ЗЕЛЁНЫМИ обоями, ужасными обоями. Какой-то старый письменный стол, книжный шкаф: «Садоводу любителю», «Как выращивать помидоры в открытом грунте», «Всё о тюльпанах», «Формирование яблонь» и «Граф Монте-Кристо», случайный. Паркетный пол, старый. На нём много яблок. На окне тоже яблоки. Сушатся. А под панцирной с никелированными ножками кроватью зелёные помидоры. Спят. А на панцирной с никелированными ножками кровати большая, очень большая подушка (такие нестандартные подушки делали когда-то в деревнях, из гусяного пуха обычнее всего.) На стене Айвазовский «Девятый вал», без рамки, в жёлтых разводах, дешёвка. По подоконнику ползают коричневые осенние мухи, похожие на дрозофилов, но больше. **Я (как она, только моложе)** сижу у окна, глажу надподоконное пространство, будто там чья-то рука. На мне дурацкое, фиолетовое, что-то.

Я (как она, только моложе). Профиль слева. Мне так хотелось поговорить с тобой о чём-то важном, но всегда не находила нужных слов и...и момента что ли, и забывала ещё... А сейчас...

я всё хотела записать твой голос, чтобы остался... и это, вот что, я невыразимо, невыразимо...

.....
.....
Я (как она, только моложе). *Профиль справа.* А ты всё старела... я приеду — а тебя опять не узнать, и...вообще наспех как-то...ты меня торопила всё, чтобы засветло домой.

.....
.....
Я (как она, только моложе). *Анфас.* Ну как же ведь, ведь как же так, ведь только ты... И никто уже мне не ответит? Мне казалось, мне всё казалось, я всё про тебя знаю, а если не знаю, то успею спросить... А сейчас...а ты любила Айвазовского? А что у тебя было связано с песней «Гори, гори моя звезда»? А какие стихи Есенина ты знала наизусть?.. Чёрт! И всё не то, не то, и неважно даже... А кого ты больше любила, первого мужа или моего дедушку? А потом? А меня? А я тебя да...А почему ты уехала из Эстонии? А где бы ты хотела жить?.. хотела жить, хотела жить...да, вот ещё, и почему ты последнее время так не хотела...хотя...

Знакомство с Я (как она, только старше)

КОМНАТА С КРАСНЫМИ обоями. Яблоки целы и спелы. На полу. Под кроватями нет зелёных помидор. Кроватей тоже нет. Помидоры в тазу, они красные. Комната мала, за окном беспросветное лето и удушливые очертания цветущей сирени. Летом-то? Это не принципиально.

Я (как она, только старше) сидит у окна в фиолетовом платье, с глубоким декольте, обнажающем старую спину и плечи. Морщины, морщины, морщины, морщины. Она прекрасна. Она одела свой единственный лучший александритовый гарнитур (серьги, брошка и кольцо). Она прекрасна.

Она внимательно смотрит перед собой и кажется в себя. Она видит ту, из зелёной комнаты, которая как она, только...которая гладит её руку... И вместе с тем в комнате только один человек.

Я (как она, только старше). *Профиль слева* Ну что, мой милый журавлик, вот теперь так, вот теперь ничего не поделаешь, теперь так...Я же так там уставала, и всё тебя ждала...

.....
.....
Я (как она, только старше). *Профиль справа.* И старела я потом быстро... И переживала...

за всех переживала... и за тебя, и за Раю, за Игору только не переживала. Дрянь он, вот что.

...а ты приедешь раз в год, и я не знаю, радостно мне или...а потом я снова...И одна всё ходила подолгу, там, у нас, на водной, или это...на лодочной станции...А здесь я теперь платья красивые ношу, мне даже разрешили александритовый гарнитур по праздникам надевать, как у тебя, такой же...И почему ты его не носишь? Я ведь его тебе с душой...ты не думай... А перстень, так он в глухой оправе, дорогой по тем временам был... А у меня знакомая, Шурочка, до войны мы с ней в коммуналке вместе жили, потом она в замуж вышла и в Свердловск уехала, так она в ювелирном работала...Я как-то собралась, тайком от твоего деда и поехала, и выменяла...ткани ей привезла хорошей много, её ведь тоже не достать было... деду твоему потом сказала, что бижутерия, он ведь всё равно не понимал в этом...он вообще мне мало дарил...и цветов тоже... А я их так люблю, ты ведь знаешь, сколько их у нас в саду было, всяких.....да, кстати, у нас тут сирень цветёт, и черёмуха тоже...Не пахнут совсем только...

.....
.....
Я (как она, только старше). *Анфас.* Я вот с тобой всегда говорю, даже без тебя...Увижу что-то красивое и сразу думаю, вот бы журавлик увидела. Я когда ТАМ была, всё ходила к дому, где мы раньше жили. Ты мелкими росписи свои на кирпичиках всё ставила, а они до сих пор там...странно, мел ведь, а дождём не смыло... Мне так много, так много хотелось говорить только тебе, но ты так редко...и я боялась надоест...Ах, ну как же ты! ах...да как тебе такое!.. да я очень люблю и здоровья тебе прошу, лишь бы у тебя всё в порядке было, устроилось всё, лишь бы у тебя...а что мне... лишь бы ты... слышишь? Слышишь? Ну слышишь ты или... Слышишь?!

Я (как она, только старше) стучит ладонями по подоконнику, бессмысленные движения отчаяния.

И ещё там было нечем дышать.

Был март, когда её не стало. ЕЁ. Мне мама сказала по телефону, что она, что её...и так неестественно, по-книжному, «не стало»:

— ...знаешь, что случилось? Нет? Бабы Ани сегодня не стало, ночью...

а дальше гудень-гудень и поток неумных маминых слов-заполнений, дополнений, уточнений, я не хочу подробностей, я не хочу этого знать..

— ...в пять утра...А ты ничего не почувствовала?.. Да... хотя по московскому времени не то...

часовые пояса...А папа и тётя Рая в это время проснулись — видимо, есть *что-то*...видимо...---мама почти равнодушна, мама не дочь, сноха, мама не любила её.---Ты только не переживай, слышишь? Так бывает, слышишь, не переживай?

— Ну что же ты говоришь, как же, — глухо сказала из меня Алина.

И несмотря на неуместное «не переживай», мама продолжала уточнять, уточнять, уточнять

— ...Игорь пьяный тогда пришёл, толкнул её в грудь, сердце ведь и так больное, на следующий день скорую пришлось вызвать... а в кардиологию положили как раз туда, где Ольга работает, удачно так получилось...да...вот... потом ей всё хуже-хуже стало, искусственную стимуляцию сердца пришлось делать, несколько раз так... а после этих встрясок человек максимум два дня живёт, Ольга нам сказала... а потом ей лучше было, папа ей апельсинов принёс, она съела один, сказала сладкий... а до этого она не ела ничего, долго не ела...Тебя напоследок увидеть хотела... а потом...так интересно, труп почему-то на улице оставили, во дворике больничном... лицо у неё было мученическое такое, жальось всё от боли... видимо, ей было очень больно...очень больно...да, вот что, ты...это... не приезжай хоронить... так хотела она... живой её помни, так сказала...

Я тогда куда-то начала проваливаться, быстро-быстро, и трясло меня сильно, а Алина села на пол и зубы сжала и не плакала совсем. И долго так сидела на полу, и страшно было за себя, за Алину, и не хотелось жить, и не хотелось не жить, и только одна мысль-вертушка: её нет, её нет-её нет-её нет-её нет-----И не было других мыслей, и это стало образом жизни.

МОНОЛОГИ

НЕ ПОМНЮ, ЧТО я тогда ела, пила, куда ходила, но появился он, Андрей. Мне даже кажется, что вначале он появился в моей голове, а только потом приобрёл телесность. Я, кажется, где-то гуляла, с Ницше гуляла, серенькая такая книжка, а Андрей заметил, и зацепился, и подсел, и разговорил.

Я говорила про *неё*, воскрешала, воскрешала, это были мои маленькие монологи, направленные не конкретно ему, а... мысли вслух. Он смотрел долго, внимательно, в меня, ловил движения, подстраивался. Я чуяла.

Он говорил что-то о бессмысленности философии и лишнем знании и о том, что жить так мало, что надо это делать радостно (но глаза его

были черны). О, эта обывательщина, он говорил неумное. Я сердито и неохотно возражала, хотела уйти, но не ушла... (А глаза его были черны.)

Потом его стало много, стало везде. В людях, в людях, в людях... Это не от любви, а оттого, что он был стандартен. Телефонов друг друга у нас не было. Он приходил по желанию, предсказуемо, по вторникам, четвергам и субботам, давая мне день на передышку, чтоб не задушить собой. Часто смотрел из моего окна, запоминал, сидел в углу, пил мятный чай, копался в моём компе, тайком подглядывал в блокноты, я знала, было забавно. Я не общалась ни с кем, кроме него, в институте не была больше месяца. Я много гуляла, не плакала о ней — теперь это было бы не настоящим. И постоянное ощущение грома в ушах, постоянного, непрекращающегося грома. И совсем не хотелось быть. Иногда я не открывала ему дверь, а потом смотрела в окно на него уходящего и пыталась что-то почувствовать, но был лишь гром.

— И все говорили мне, ты, Алиночка, как она, только моложе, а я была совсем маленькая, смотрела на неё и насупившись так: ну-у, не-ет. А мне говорили: «думаешь, бабушка твоя всегда такая морщинистая была, она была очень красива, да ты потом поймёшь», она была красива, теперь вижу, и сильна... дух...и голос такой грудной, красивый... слышу его иногда... Эти люди ошибались, я на неё не похожа, я слабее, я без неё не... (опомнилась, жестче, конкретнее, в лицо). Вот думаю я, что все мои эти разговоры не тебе совсем, это мои монологи, можешь уйти, а то я лишнего скажу, наверно...

Но как я не хотела тогда, чтобы он уходил. В этих ему монологах я начинала ощущать себя, в пространстве. Я становилась реальнее, человекообразнее. И это тоже было ново. А потом, когда он уходил, я винила себя за то, что подарила ему кусочек *её*. Что же останется потом мне? Как я буду, если раздарю её...Но не проговаривая все заметки о ней, мозг начал стирать некоторое, перекладывая на сердце ответственность за смутные эмоции. Я была зла на него за это. Я цеплялась за каждую фотографию в памяти, где была *она*. А потом я решила, что больше не скажу ему ни слова о *ней*. И стала молчать.

— Алина, кто она тебе? А, Алина? Что это за женщина, Алина?...

Я молчала. Алина молчала. Мы сидели на полу и пили «Мадейру». Александритовые серьги и кольцо, которые *её*, я тоже показала ему... А за окнами наступала непогода.

— Не храни ты эти вещи, тебя они расстраивают, слышишь? Выбрось, отдай их кому-нибудь. Хочешь, я сам? Они же дешёвые, они же не золото, и не серебро?... всё равно...

Алина не слушала. Я молчала.

— --Ты не слушаешь. Мне кажется, ты не слушаешь. Алина! ...Алиина! У тебя такой странный разрез глаз, цвет глаз и такой запах, твой запах... и руки и я не могу уйти от тебя, Алина! Я нужен тебе?

Я слушала. Алина молчала.

— --Я нужен тебе,- утвердительно. -Ты же, как воробей, и плечи так делаешь, и тебя нужно охранять, ведь мир зол, а ты мала... и я знаю, это опять банальность... я знаю, он у твоих ног, Алина, мир должен быть у твоих ног, Алина!.. Так сложно уйти, так сложно, проводи меня до двери, Алина, ведь я знаю, что ты так немногословна сегодня лишь оттого, что устала и хочешь спать, а я... Ты проводи меня до двери.

Алина проводила его до двери. Я молчала.

А он боялся дышать на неё, как на снежинку. И Алина закрыла за ним двери на все замки. Я, кажется, люблю... А Алина?

Он превращается в Андрея, когда уходит в мир. Он нежен, чуток, самозабвенен, предсказуем, чаще молчалив, чаще идеален, нет, всегда идеален, нет, вообще идеален. Зачем он превращается?!

Андрей же чёрствый, Андрей же человеконенавистник, Андрей эгоист, рационалист, злой-злой-злой. Жестокий-жестокий.

Он покупал красные вина, сыры, шоколад, водил меня в кино... Я отворачивалась, он фотографировал, я отворачивалась, он обнимал мои колени, я отворачивалась...

...Алина отворачивалась, она не любила смотреть ему в глаза, это было необъяснимо.

— Это необъяснимо...

— Алина, я знаю тебя только в профиль, и наверно, если ты будешь идти мне навстречу, я не пойму, что это именно ты... — говорил он и пытался развернуть меня в свою сторону, но я только кивала и отворачивалась.

Потом он куда-то пропал. И я запомнила его лицо. Серьёзное, смуглое, с чёрными глазами, со вставленной полуулыбкой, вполне себе красивое или же правильное, но... со вставленной полуулыбкой.

С полуулыбкой он пришёл ко мне через неделю, когда я о нём забыла. Не принёс ничего, никуда не звал, сел в кухне и смотрел, как Алина ела

— не доверяю тебе пока... — сказала я, — не смотри на меня, когда я ем, не люблю так, толь-

ко для близких, тебе не доверяю пока. — Алина не смогла проглотить пищу при нём и выплюнула. Зло смотрела на него, потом, не выдержав: — ну что? Что?!

Он молчал, смотрел всё с той же полуулыбкой, неподвижно, в меня.

— Вот я тебя всё спрашиваю о чём-то, спрашиваю, и всё равно ничего о тебе не знаю! — так выпалил он вдруг, и прямо оператора зови, хоть сейчас в кино снялся бы. А я Станиславский. Не поверила. Алина отвернулась, по обыкновению, но захохотала. Я не ожидала от неё такой реакции. Он заглядывал мне в лицо, я отворачивалась. Он схватил меня за подбородок, крепко, повернул лицом к себе, неестественно, чтоб в глаза. Алина осеклась, замолчала. Потом:

— Что же? Ну как же, что тебе нужно знать? Я же... да всё неинтересно... как у всех... живу вот себе...

И рассеянно улыбалась, будто оправдываясь, будто таилась.

Потом были попытки просмотра фильмов, что-то не клеилось, потом были попытки секса — аналогичное. Алине было скучно, меня же он упорно игнорировал, так мы пытались спать. Тоже не выходило. Он смотрел на спящую Алину, я чувствовала взгляд и оттого просыпалась, были опять попытки секса, и всё по той же схеме до утра, кроме фильмов.

Алина не фригидна, Алина не могла любить. Его. Я же... Секс получился. Утром. Ему было приятно, а я приготовила овсянку.

Мы ели овсянку и смотрели утренние новости, был ноябрь и никуда не убежать. Безысходность. Он тоже её чувствовал, но —

...А потом он перестал уходить.

где воздух.(?)(!)(...)

КОГДА АНДРЕЙ остался — дышать стало ещё труднее.

Особенно по вечерам с Алиной случались странные приступы. Она глотала воздух, ловила его губами — не находила. Я уже могла при нём спокойно есть, заниматься своими делами, не замечая.

Утром мы вместе завтракали, принимали душ, вместе шли к метро, я в институт, он — на свою работу (знала только, что какой-то банк, что заправлял там всем его отец).

Подруг у Алины было не очень много. Высокая и модель Вера, живущая на содержании у богатых мужчин и похожая на неумную; институтская подруга Дина, с которой они пытались

«делать музыку»; и ещё пара совсем непримечательных людей, скорее случайных. Но Андрей исключил их всех из её жизни, сам же был не любим. Рассказывал иногда про какого-то там Фёдора, который то ли из протестантов, то ли... в-общем, фанатик какой-то, друг детства ещё и. Я его опасалась и вообще избегала.

Вечерами Андрей читал какие-то книги, курил на балконе долго-долго, это было, когда я *воскрешала её*. А обычное всего смотрели с ним фильмы, он любил неумные, всё чаще комедии, и говорил, что жизнь без того сложна, что фильмы и музыка должны расслаблять его, что

— ...эти твои Гринуэи, Бертоллуччи для тупых, которые грузят, грузят себя, пустоту заполняют в башке своей... Ты пуста? Ты тоже смотришь их. Ты пуста, — утвердительно, самоуверенно, пока случайно. Мне стало немного обидно, но он погладил Алину по щеке, нежно, и я сделала вид, что не заметила.

Потом он стал выдумывать гадости, от своих обид за моё невнимание причинял обиды мне же. Казалось. У меня же ещё был гром. И я была так не чутка.

— знаешь, меня сложно обидеть, теперь... тем более тебе.

— почему?

— Ну-у...

— нет, почему ты никогда не называешь меня по имени?

— Потому что ты единственный... кто ещё может быть, как мир, как...зачем тебе имя?! (смеюсь отчего-то)

— --Да, чёрт возьми, когда ты будешь говорить серьёзно! Мне кажется порою

— что солдаты,---и опять смех, но я не хотела.

Он сделал чёрную паузу, и ещё мрачнее:

— --мне кажется, Алин, что мы с тобой... вернее, ты со мной, только от скуки... или нет же, вот как, я нужен тебе только лишь для «воскрешения её». Но пойми, Алин, твоя бабка мертва, пойми, и дура ты, если думаешь, что любила её как никого никогда, ты вообще холодная, не способная на это, ты...

Он ходил по комнате, садился, вставал, играл зажигалкой, трогал виски — выворачивался. А я изворачивалась, а я старалась видеть только внешнее, жесты, движения, чтоб не слышать- —

— --...Оттого только, что она так «быстро-смертна», как ты говоришь, ты и привязывалась к ней, и будто бы любила только её одну, всё выверенно в этом мире, Алин, продуманно, подсознание, Алин, Юнг, мать его, ты сама забыла, но это именно так!..

После этого мы, кажется, стали не любить друг друга взаимно. Он стал только Андрей. А меня он перестал называть по имени.

Однажды, это было почти лето, мы с Андреем сидели на балконе. Я читала какую-то книгу, к экзаменам, он смотрел на меня и курил. Щурился, недобро улыбался пухлыми губами и был похож на кого-то очень значительного.

— Чего ты боишься?---спросил вдруг.

— В смысле, вообще?---не разобрала.

— Ты многого боишься? Ты всего боишься?---пристально, что-то тая будто бы.

— Необъяснимого скорее.

— А я? А меня?

— Необъяснимо. Наверное, да. Да, боюсь тебя...

— Всё объяснимо в этом мире, тем более я.

Кричали вороны, шумел трамвай, чьи-то чужие голоса, искажённые эхом арки, ведущей во двор. Мы — в стороны. Молчим. И всё как на ладони. И всё так ясно. И я смотрю ему в глаза. И что-то новое — —

— Вот сейчас ты смотришь... — он.

— И?

— Ну раньше ты редко смотрела в глаза, а сейчас...

— Видишь, исправляюсь.

— Но раньше у тебя взгляд был мутен, плыло всё...

— Да? А сейчас?

— Сейчас обычный, чёткий, отчего же?

— Наверное, от очков, я тогда избавлялась от них, а теперь привыкла.

— Ко мне?

— Смотреть без очков.

.....

— Бродить пойду, наверно, — сказал вдруг. — А тебя не возьму, — смотрел внимательно, по-прежнему недобро.

Кричали вороны. Шумели трамваи.

— Неужели тебе настолько всё равно!---заорал.

Я молчала.

— Неужели настолько всё исчерпано, чтобы было такое равнодушие!

Вырвал книгу из рук, выбросил, схватил за лицо:

— В глаза смотри!

Уронил, ударил. Кто это?

— Дурь-то из тебя вышибу!.. не-ет, ты либо здесь, либо нигде, либо со мной... а так... Дурь-то вышибу!

Я заползла в комнату, он стоял надо мною и упивался своей силой — слабый же. Я не понимала, я отворачивалась, чтобы не видеть его глаза. Мерзко-мерзко-мерзко.

— И всегда боюсь слабых, вы такие неуверенные и злые,---я.

Он стоял у окна и больше не смотрел на Алину, потом:

— К тебе вчера эта, как её... Дина забегала, диск передала---и темно лицо, и незнакомо.--- там фотки были, и ты среди каких-то людей... Музыку ты с ней играешь? Какая музыка, ты же не способна ничего создать, ты же женщина!.. А мне не говорила... ты таила? Да? Зачем? Ты что-то скрывала?.. И люди... и эта Дина, они же все как палки — примитивные, а ты... Ты! Ты же... не должна опускаться до них, как ты можешь, о чём вы с ней вообще разговариваете!.. Как я тебя оказываешься не знаю, может, ты такая же?.. (театрально как-то:) Ты такая же! (утвердительно)

— -- Презираю, — Алина. — слабых всех. Андре-ей! (дразня, по имени, как он любит)

И больше Алина не говорила.

Потом Андрей ушёл, закрыв Алину на все замки.

Вроде сентябрь. Или лето такое рыже-коричневое. Какой-то город. Бесконечно длинный пустой проспект, а в окнах ни занавесок, ни света, ни тени, точно муляж. И то ли вечер, то ли раннее утро. И по проспекту бежит женщина. На ней какое-то старое, хорошо пошитое твидовое пальто, лакированные туфли в стиле пятидесятых, колготки со стрелочками сзади, тёмная помада размазана, глаза подведены чёрным, слишком. Волосы до плеч, растрёпаны. Это красивая женщина.

Звук от её каблучков единственный звук. Всё мертво. Она подбегает к телефонному автомату, набирает, нервничает. То занято, то не берут, то занято, то...

— --Алло, Послушай! Я это! Обещала же, вот и... послушай, я забыла свой адрес, не знаю, что со мною, не знаю. И не у кого спросить, куда-то все подевались, куда мне идти? А ты где? Приезжай же сюда! Я не могу тут!.. Алло, алло? Алло?! Алло?!!

Я (как она, только моложе). Как же так, ведь я люблю... И такое бывает. Или же нет, милая

моя, или же только ты. А ещё я думаю, что вдруг нет её, ну не между мужчиной и женщиной, а вообще, такой всеобщей любви... Нет, я не имею в виду любви ко всем, я же не настолько глупа ещё и знаю, чего уж точно... я про такую, которая исцеляет, которая смысл... И вдруг я тебя так любила только оттого, что знала, что ты вскоре... что ты скоросмертна... и всё это лишь эгоизм... Нет же, нет же, нет же, всё глупости, всё бред... только ты...

А ещё мне сегодня виделась снегири, большие такие, пребольшие. Сидят на ветках, и я их фотографирую, чтобы ему показать, ведь он их никогда совсем не видел. И всё это на лодочной станции. А там, где всегда автобус сломанный стоял, куст жимолости вырос и ягод много, и я их ем, и синие, и какие-то красные. А ещё знаю, что куст этот ты садила. И плачу, плачу, и смеюсь, смеюсь... И так чувствую... Я всё чувствую... И даже боли рада... А сейчас будто в коконе, от всего отгородилась, и всё мне мало, и ничего не хочу, и ничего не чувствую — —

Я (как она, только старше)... Это плохо, журавлик мой, это плохо. Мне, перед тем как здесь быть, домá снились. Чёрные, такие, как возле железных дорог, из каких-то шпал сделаны. И окон нету, и не выбраться совсем. А страшное то, что правда это. И здесь мне так же... Я тебе звонила-звонила, а ты? Не знаю, когда в следующий раз, и будет ли... И будь осторожна, и себя береги самое главное... и случайностей разных избегай и —

Только Алина

ВСЕ МОИ ЕМУ монологи были как затянувшаяся предсмертная послание. Её. Моё. А он понимал. Андрей. Хотя этого не бывает, ведь всё такое непохожее, все такие... не бывает схожего восприятия. И все неповторимы, и в этом одинаковы.

Я проснулась от того, что меня кто-то душил, кто-то в одеждах епископа, католический, очень тяжёлый, звенящий голос, но я понимала его. Освободившись, я соскочила с кровати и пыталась выбежать из комнаты, но не нашла двери. Епископ исчез, но голос остался, он нависал надо мною, играл со светом, смеялся и превращался в Андрея. Единственным выходом было окно. У меня был седьмой —

Дальше — осталась только Алина.

После побоев Алина лежала, свернувшись калачиком, на полу и видела её. Там, в сентябре,

у автомата. Алина бежала к ней, обнимала, кричала — она не слышала, не чувствовала. Она плакала и всё становилось сиреневым.

Андрей вернулся через несколько дней, почти трезвый, только слегка обросший. Виновато молчал. Сел возле её кресла и смотрел-смотрел, так любят, наверное.

— Ты знаешь, мне был сегодня странный сон, — и Алина гладила его по небритым щекам, как гладят любимых. — Всё было в жёлтом...

...Всё было в жёлтом. Мы ждали урагана. Мы веселились и пили вино. Вокруг ветер. Спела малина. Огромная малина, величиной с яблоки. Ты целовал меня в глаза и так любил, что —

— Что тебе сделала?

Не люблю быть нелюбимой. Обыденностью тебя, что-ли?.. И слёзы-самокаты. Последний раз так рыдала после её смерти...Такая гордая, и не злюсь, и люблю. А когда ты меня — не могла. Такая несвоевременность. И от нежности готова бисером по полу, и к тебе прикатиться, таким мелким, чтоб не собрать. Чтоб ступал по мне каждый день... такая вот гордая.

Так не хотела впускать тебя, страшилась.

Ты спрашивал: «Чего боишься — меня боишься? Почему боишься?»

А я знала, что будет так. И страшилась я *полюбить-потерять*.

Он целовал её в глаза и всё повторял «не потеряла-не потеряла-не потеряла» и ещё «виноват-виноват-так виноват»... не потеряла.

Через несколько дней он ушёл насовсем. Бегством от равнодушия. А Алина уехала в город своего детства, чтобы окончательно воскресить её и, наверное, постараться забыть.

В апельсиновом доме

В ЭТОМ ГОРОДЕ вроде бы жили и ещё ждали её люди, такие близкие ей люди, такие уже давно мёртвые ей люди. Город её детства даже в 2007 году оставался в лесах и тайге, в сталинках и хрущёвках, в алюминиевых, трубных, литейных и машиностроительных заводах, в бесконечных ДК «Металлургов», «Строителей», в памятниках Ленину, Марксу, Энгельсу, в бульварах Парижской Коммуны и улицах Четвёртой пятилетки. Даже в 2007 году он был советской мухой в янтарях.

Её дом, знакомый Алине с детства, полинял и стал ещё рыжей. Уродливый рыжий панельный дом. Рядом лодочная станция, речка, за которой

беспросветный лес и много-много несуществующих ныне тополей, которые были когда-то здесь, которые когда-то были большими, которые теперь только в алининой голове и остались. И рыжий дом казался больше. В голове он был такой надёжный, апельсиновый, с вонючим подъездом, стенами с нелепыми глупостями. А когда во сне, она бежала по лестницам на самый последний этаж, то пролёты были чем выше — тем меньше, и лестница сужалась, и дверь в квартиру детства была с ладонь. Как же зайти-как же зайти-как же зайти...И что бы это значило? Что бы значило. А сейчас понятно уже что. Что уже не зайти. Кончилось. Детство. Люди. Воспоминания тоже кончаются. Но пока. Осталось то, что задаёт вопросы. Внутреннее, подсознательное, которое не поймёт ни один ответ, оно не знает слов, оно может только почувствовать отгадки или же стереть что-то очень важное, что-то очень важное, что-то очень важное. В памяти. И будут только образы и непонятная тоска, и она будет казаться беспричинной, беспочвенной, с жиру.

А в подъезде все стены покрашены в небесное. И всё ещё пахнет краской. И уже не сон, и уже Алина поднимается на самый верхний.

У двери она поправляет волосы, кашляет — першит что-то, указательным пальцем касается губ, похожее на «тише», смотрит на коврик и только потом нажимает звонок. Дверь открывают почти сразу — только её и ждали.

Маленькая, толстая, в рыжем парике, пахнущая булочками, терпкими цитрусоподобными духами и валерьянкой, тётя Рая (дочь её). Она подготовлено приветливо улыбается, и только предательски щурятся заплаканные глаза.

— ...А я тут пылесосила, отдохнуть села и ты... а я думала, ты попозже будешь, и не накружилась ещё, только парик натянула, а то совсем страшна что-то... да... вот... да ты проходи же в большую комнату, вон в ту комнату, да ты же знаешь всё тут, а я как с чужой, отвыкла... да, отвыкла...

А потом она суетилась с пирогами, салатами, будто не двое вовсе, и без умолку говорила, говорила о чём-то бытовом, насущном, внешнем, о чём с неблизкими, чтобы время заполнить. Но тут не то. Скорей от волнения и по привычке.

Алина молчала, пила коньяк и смотрела в окно, на деревья, которые...

— Ты ешь, что же ты не ешь-то ничего, я старалась, так ждала тебя, ждала... Как же ты на неё похожа, как же ты похожа!..

И тётка плакала, плакала. После её смерти тётка жила с сыном Игорем (внуком её) в этой

апельсиновой хрущёвке. Игорь по-прежнему пил, немного работал таксистом, потом разбил машину и работал «электриком на КУМЗе» (местный завод), выплачивал с копеечной зарплаты алименты. С женой Ольгой (медсестра в кардиологии, где умерла она) он развёлся ещё давно, и у них выросла дочь. А когда он очень напивался, то разговаривал сам с собою.

— Да бля, бабка и так старая была, на тот свет пора было...А чё я, я эт, случайно всё... Ма-ать, э-э, ма-ать! — так звал он мою тётку.

— Да, Игорёша,---прибегала,---да ты же еле дышишь, так пьёшь, ведь сердце...

— Да, бля...я тя хотел спросить... мне тут это... щенка предложили, может, нада нам, стаффорда, тебе же нравились...

— Иди проспись, нам самим жить надо на что-то, а тут ещё стаффорда вздумал, живём на мою пенсию, раньше хоть с маминой пенсии как-то боле-мене по-человечески жили...

— Блядь, достала, иди отсюда! — орал, кашлял, задыхался.

— Чтоб ты сдох, скотина такой, — говорила тётка, возвращаясь к домашним делам, полушёпотом, скороговоркой, молитвенно.

Так жили без неё.

— И вот, знаешь, Алин, — плакала тётка. — меня вот Игорь обидит если, я вся такая бегу в комнату, думаю, щас маме расскажу, поделюсь, а прибегаю — её нет. А иногда ещё в комнате начинает ей пахнуть, и я начинаю разговаривать с ней. Может, от платьев запах, из шкафа — уж не знаю, надо будет потом отдать их кому-нибудь, а чего, они и новые некоторые есть...

— Тётъ Рая, отдай мне, так надо мне, я была бы очень...

Последнее

АЛИНА ЗАБРАЛА все четыре платья, некоторые фотографии, где она так молода. Где она с двумя толстыми косами, вздёрнутым загорелым носиком, с подругой в обнимку, а на обороте по-

лудетской её рукой: «Любовь — это бурное море, Любовь — это злой Ураган, Любовь — это слёзы и горе, Любовь — это только обман. Нюра (она) — 14 лет. Маня — 16 лет». Потом где замужем — уже без кос, в крепдешиновом платье, которое по рассказам было синим, потом 3 на 4, где она беременная Алининым папой (так она рассказывала, так она помнила, что на этой фотографии, где только лицо, она — моим папой).

Ещё у Алины остались её драгоценности, в число которых входила медная брошь с почти-рубинами, которую сделал когда-то какой-то знакомый из её деревни «для неё», которую она, даже глубоко состарившись, редко снимала. Остались её открытки на дни рождения, и всё только внешнее...

Побывав в её доме, Алина не воскресила её, как казалось. В другом городе, Алина думала, что ещё есть такое место, где она живёт. Теперь же была ясность. Определённость. И даже от неё сильнее становишься, вот только бы осознать до конца, как космос постичь, осознать до конца его бесконечность, но это нереально, хотя теоретически — возможно, практически же — сумасшедшим единицам.

Все воспоминания о ней, все чувства, Алина как бы превратила в сжатую папку, zip-папку, которая теоретически есть... И хотя ещё нельзя сказать «да, я её любила», но уже что-то не позволит сказать «я её люблю».

В саду, в том старом рыжем домике, собственноручно когда-то сделанным Алининым дедом, всё ещё она. В вечной осени, без печки даже...Иногда Алина почти видит её,видит большие ягоды малины в её ладонях, вёдра со свежими огурцами на лавочке возле рыжего домика — она собирается домой. Но так и не уезжает.

Она плачет, маленькая совсем, она прижимается к Алине, и навзрыд смешиваются все мысли. Алина гладит её плечи и говорит ей, будто всё обойдётся, хотя знает, что—